



4,80











ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО  
РИГА 1957

**В. ПЛУДОН**



**ДЕТСТВО  
МАЛЕНЬКОГО  
АНДУЛСА  
ВОСПОМИНАНИЯ**



*Художник Т. Грасис*  
*Перевод с латышского*  
*В. Дорошенко*

## ПРЕДИСЛОВИЕ

Латышские писатели создали для детей и юношества много автобиографических произведений. Некоторые из них («Дневник Пастариня» Э. Бирзниека-Упита, «Детство у Стабурага» Валдиса) переведены на русский язык и известны далеко за пределами нашей республики. Повесть «Детство маленького Андулиса» знакомит нас с эпизодами из детства латышского писателя — Вилиса Плудона (1874—1940). Эта повесть переносит нас в конец XIX столетия и рассказывает о быте и нравах деревенских жителей Латвии того времени.

Более полувека отделяет нас от того времени, которое описано в повести, но юные читатели наших дней с интересом и вниманием следят за рассказом о детстве маленького Андулиса. Даже самые обыденные явления и происшествия в жизни мальчика описаны в повести очень поэтично.

Почти все воспоминания маленького Андулиса неразрывно связаны с дядей Клавом, его самым большим другом, умным, жизнерадостным сельским кузнецом. Мальчик горячо привязан к своему взрослому товарищу, порою ему даже кажется, что он любит кузнеца Клава больше, чем собственного отца. Целые дни Андулис проводит в кузне, приглядываясь к тому, как сильные, умелые руки его друга превращают бесформенные куски железа в полезные предметы.

Вот Андулис пытается в кузне помочь дяде Клаву — он раздувает в горне огонь. Богатое воображение мальчика заставляет его видеть вместо мехов то диковинную сказочную птицу, то чудовищного змея, набрасывающегося на отважного рыцаря, то необыкновенных размеров гармонь.

А вот мы вместе с Андюлисом погружаемся в иной мир — в мир героев прочитанных мальчиком книг. Маленький Андюлис с увлечением читал о баталиях, в которых участвовал Карл XII, Александр Македонский, Ганибал, Наполеон. Начитавшись рассказов об их подвигах, Андюлис в своих играх подражает великим полководцам. Растущий вокруг репейник вполне заменяет ему войска неприятелей.

Мальчик любит читать, но книг мало. Его внимание привлекает толстая черная книга, которую отец читает по воскресным дням. Это библия, книга религиозного содержания. Андюлису она кажется таинственной, но мальчик скоро теряет к ней интерес — описанные в библии истории оказываются странными, малопонятными. Такой же непонятной, скучной и далекой кажется Андюлису и воскресная утренняя молитва, на которую собираются все домочадцы. Мальчик безмерно счастлив, когда эта церемония заканчивается и он снова может целиком погрузиться в свой детский мир, полный тайн и открытий.

Большое место в повести отведено описаниям родной и близкой автору природы. Вот Андюлис с наступлением весны ищет птичьи гнезда, находит их в самых неожиданных местах, наблюдает за жизнью птиц, следит за появлением птенцов, наслаждается весенними ароматами, благоуханием цветущих лип. Мальчик очень любит природу, любит птиц и животных, но зачастую безо всякого злого умысла причиняет им боль. Дядя Клав заставляет Андюлиса почувствовать, какие страдания приносит жестокость, и Андюлис бежит к Клаву с повинной, обещает никогда не обижать беззащитных.

Повесть «Детство маленького Андюлиса», содержащая много интересных зарисовок, написана Вилисом Плудоном в 1900 году. Настоящее имя ее автора Вилис Лейниек. Он родился в крестьянской семье. Будущий писатель уже в раннем детстве полюбил народные песни, сказки и предания, которые знала и рассказывала его бабушка. Едва научившись грамоте, еще не посещая школу, мальчик устраивал дома театральные представления, издавал журнал с собственными стихами. В школьные годы Плудон всерьез заинтересовался литературой, познакомился с произведениями русских писателей, увлекался стихами Пушкина, Лермонтова, произведениями Гоголя и внимательно следил за родной литературой.

В дальнейшем Плудон получил специальность учителя и с 1895 по 1933 год занимался педагогической деятельностью. Он составил учебники латышского языка, хрестоматии, сборники стихов для юношества. Первый сборник стихов самого Плудона вышел, когда он учился еще в Кулдигской учительской семинарии, в 1895 году. Активное участие принимал писатель и в общественной жизни. Он живо откликнулся на события революции 1905 года, посвятив им ряд произведений. Плудон создал замечательные поэмы и баллады. Среди них особенно известны: «Сын вдовы», «В солнечную даль», «Два мира», «Тайна болотного луга». Большой любовью читателей пользуются стихи Плудона для детей. Поэт мастерски описывал богатство, красоту и разнообразие природы Латвии, которую он сам хорошо знал и горячо любил. Кроме стихотворений и повести «Детство маленького Андудлиса», Плудон написал для детей несколько поэтических сказок.

Имя Вилиса Плудона хорошо известно юным читателям Латвии. Переведенная на русский язык повесть «Детство маленького Андудлиса» займет достойное место в ряду изданных на русском языке произведений латышских писателей прошлого.

Э. Дамбран.







# I

Я — уроженец Земгале. Моя родина — Вец-Серене, на берегу Даугавы. В 1876 году мои родители перебрались оттуда в Латгалию, в селение Тайва, или, как его называли местные жители, в «дерёвню Тойва».

О Вец-Серене я не сохранил никаких воспоминаний. Даже долгий трудный путь до нового места жительства весной, во время половодья, когда мы с матерью, переправляясь через реку Нарату, чуть было не утонули, не оставил в моей памяти ни малейшего следа.

Зато более отчетливо запомнилась мне деревня Тайва. Уже двадцать с лишним лет минуло с той поры, а прошлое так живо и ясно встает перед глазами, будто все это было только вчера.

По одну сторону от нашей усадьбы проходил широкий большак. Серый, с забитыми канавами по обеим сторонам,





тянулся он, словно длинная пропыленная холстина, по целине к Варлавской березовой роще.

Летом по нему часто большими партиями гоняли свиней. Тощих, костлявых, заморенных, их гнали мужики в красных рубахах на выпуск. В руках у мужиков были длинные-предлинные плети.

По другую сторону, там, где восходит солнце, протекала река, а за ней на холме высился сосновый бор. Каждый вечер с наступлением сумерек туда большими стаями летели вороны. Молча скользили они черными тенями сквозь немые вечерние сумерки. В неподвижном воздухе слышалось лишь хлопанье их тяжелых крыльев.





Кроме нашего, в деревне было еще шесть дворов, и все постройки в них старые, запущенные, не сегодня-завтра развалиются.

Голые концы стропил выпирали из ободранных соломенных крыш, словно челюсти на изможденном лице. Стены прогнили и так покосились, что того и гляди рухнут, если только убрать из-под них подпорки. Жилой дом с хозяйственными постройками стояли рядом, тесно прилепившись друг к другу. Как они походили на сгорбленных, дряхлых старушонок, что, собравшись в кучу и опершись на клюку, сетовали на свое горемычное житье!

Самое новое и добротное из всех деревенских строений, если не считать нашего дома, который после переезда отец велел малость подправить, — это кузница дяди Клава.

Как сейчас, вижу четырехугольный деревянный дом зеленоватого цвета; стоит он на подгорье, по ту сторону боль-





шака, прямо на целине, кирпичная труба торчит на черной крыше, будто красный кивер, надвинутый на черный парик.

Еще в позапрошлом году помещик приказал выстроить новую кузницу вместо старой, которую как-то осенней ночью снесла буря.

Кузница дяди Клава для меня — особый маленький мирок внутри большого мира, полный сказочных образов и удивительных, невиданных вещей, которые будоражат мою детскую фантазию.

Напевно вздыхающий горн... И ленивые мехи, что, растянувшись на полу, хрипят и высовывают огненные языки... И черная приземистая наковальня, вокруг которой мельтешит рой золотых пчел...

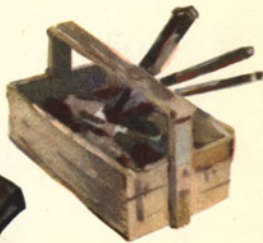
Я знаю, что черные ноздреватые куски в другом углу кузницы — это прогоревший каменный уголь; а кто мне докажет, что это не ядра, начиненные молнией?

И сколько бесконечно разнообразных обличий принимает в моих глазах один и тот же предмет! В каких только существ не может он подчас превратиться!

Если сейчас эти шипящие мехи — свирепый огнедышащий змей, который с фырканием налетает на храброго рыцаря Карлиса Раде, то завтра они обратятся чудо-птицей Аллис, что быстрее ветра мчит королевича за облака к прекрасной принцессе, которая томится в темнице страшной ведьмы.

А назавтра это уже не змей и не птица, а огромная-преогромная гармоника. И я размышляю, какие же клавиши нужны для такой громадной гармоники, как бы они звучали и до чего же длинные надо иметь руки, чтобы растянуть гармонь во всю ширь, и еще о том — найдется ли во всей деревне другой такой человек, который сумел бы с ней так управляться, как кузнец Клав.

Да, как мой дядя Клав!  
Никогда мне не забыть его гибкого.



как у ягуара, тела, его бурых мускулистых, точно у атлета, рук, его головы с копной блестящих черных взъерошенных волос, которые подобно густому лесу покрывали его голову, словно грива, свешивались ему на лоб и на шею, выбиваясь из-под рыжей шапки, слишком маленькой для такого дремучего леса волос.

Он был не здешний. Он осел здесь «только так, мимоходом», как говаривал сам, «чтобы заработать денег на сапоги и податься на Урал, на большие металлургические заводы».

Кузнец Клав принадлежал к той редкой породе людей, которые, как говорит молва, никогда не старятся. Никакие превратности судьбы не могут отучить их смотреть на жизнь сквозь розовые очки, никаким бурям не под силу выдуть из них прирожденную искру веселья. Все печальное, унылое, мертвящее отскакивает от них, словно капля воды от горячей плиты.

Я души не чаял в кузнеце Клаве, в дяде Клаве, как я его обыкновенно звал.

Каждый день, едва только продрал глаза, я выбегал на двор послушать, раздастся ли грохот на пригорке. Потом живехонько трусил через большак в кузницу, к дяде Клаву, которого всегда заставал за работой, в неизменной синей блузе и в кожаном фартуке.

Я мог стоять часами и наблюдать, как дядя Клав большими щипцами вынимает из огня раскаленный добела кусок железа, который искрится и рассыпает вокруг бесчисленное множество серебряных звездочек, как он кладет его на затылок «болвану Кристапу» и принимается расплющивать его тяжелым молотом; потом опять кладет в огонь и снова вынимает, и опять кует,





потом снова калит, кует и калит, калит и кует, пока не выйдет либо ключ, либо топор, либо подкова.

Иногда, взяв в руки кусок железа, дядя Клав меня спрашивает, что, по-моему, из него выйдет. Если скажу — подкова, он смастерит из него топор; скажу — топор, а у него получится осевая чека.

Окончив работу, дядя Клав говорит:

— На, племян, теперь покуй ты, пока я набью трубку! Да гляди только — не свороти наковальню.



И он подает мне в руки большой тяжеленный молот, а тот — трах! и тут же падает на пол.

— Экий ты у меня хвастунишка! — замечает дядя Клав. — Хочешь одним махом вогнать в землю черта с двенадцатью головами, а самому и молота не удержать. Ну, парень, иди тогда лучше подуй в гармонику!

Я принимаюсь раздувать мехи и сам начинаю сипеть сильнее мехов, и сиплю до тех пор, пока, наконец, не подходит дядя Клав и не освобождает меня.

Да, что же меня так привязывало к кузнецу Клаву? То ли мое постоянное одиночество среди взрослых, которое я остро чувствовал в отцовском доме? То ли неизменно веселый, открытый нрав кузнеца Клава, так любезный сердцу ребенка? Или то, что он всегда меня привлекал, постоянно был ласков со мной, ковал мне ножички, делал всякие игрушки, покупал сласти? Не знаю. Знаю только, что дядю Клава я любил, очень любил, гораздо больше любил, чем отца родного.

И того не могу взять в толк, за что меня кузнец Клав так баловал. С другими ребятами он вовсе не бывал так ласков. Портнихиною Карлушку он раз даже выпорол. Только уже запомнил, за что.

Помню, как мы с дядей Клавом рыбу удили, как охотились на зайцев, как собирали орехи в прибрежном кустарнике, как, бывало, ездили в ночное. Он обещал сводить меня и на Черное болото, далеко-далеко, туда, где небо спускается до самой земли.

Ох, как мне не терпелось попасть туда!

Когда в погожие солнечные дни над болотом стлалась синеватая таинственная дымка, я целый день мог не евши сидеть на садовой изгороди, и смотреть туда, и размышлять о том, что скрывается за этой загадочной туманной пеленою.

Один край болота длинным серым крылом тянулся через сосняк до самой реки.

Я знал болото как свои пять пальцев. Там растет тростник, дурманный багульник, белая пушица, камыш и острая осока. Кое-где, словно редко расставленные вехи, торчат низко-

рослые, хилые сосенки — в скудости возросшее карликовое племя. С завистью взирают они на своих стройных, пушистых товарок, что красуются на пригорках по обеим сторонам болота.

Осенью, с наступлением гололедицы, когда трясина подмерзает, деревенские ходят туда косить сено.

То-то удовольствие скакать по замерзшим кочкам, воображая, будто летишь над ужасной пропастью. И прыгнуть надо непременно так, чтобы нога ступила на кочку, на остров, не то ухнешь в бездонную «пропасть», где обитает черт с двенадцатью головами.

На середине болота никто еще не бывал. Там, говорят, зыбун, который никогда не замерзает. И будто есть там такое место, по прозванию «чертов глаз», — весь шест можно туда вогнать, и то дна не достанешь.

Про это место идет в нашей округе дурная слава. Покойный хозяин Варлавского хутора как-то в зимнюю пору, погнавшись за зайцем, угодил в те места. Заяц был уже близко, на расстоянии выстрела. Взялся это охотник за ружье, ему бы стрелять, — а заяц вдруг прямо на глазах — шашь! — и будто сквозь землю провалился. Сам-то дед с горем пополам еле выбрался из трясины.

Да, это место нечистое.

А кузнец Клав, услышав такие речи, сплюнул.

— Эх, жалкие бредни от темноты нашей, и когда только у них пелена спадет с глаз? — промолвил он и стал с сердцем колотить молотом по затылку «болвана Кристапа».

Кузнец Клав никогда не верил тому, что болтали в деревне. Кузнец Клав называл наших деревенских темными, дурнями суеверными и, чтобы научить их уму-разуму, не прочь был иной раз над ними подшутить. А то чего только не выдумают!

То в Валейкиной бане заблеял козел, то в старом овине у Рунгайниса ни с того ни с сего забрежал кобель не своим голосом, или в давешнюю субботу в полночь появилось на кладбище белое привидение с огромными огненными глазами, которые пылали, словно красные фонари.

А к Гришкиному Яше однажды в ночном привязался сам бес с большими-пребольшими рогами и когтищами.

Когда наутро Гришкин Яша, бледный и дрожащий с перепугу, стал рассказывать, что приключилось с ним этой ночью, дядя Клав, напустив на себя серьезный вид, важно произнес:

— Твоя правда, Яша, беса только что выпустили из железной клетки. Он был там за язык приморожен к дверной ручке и заносил в черную книгу всех уловленных грешников. Верно, и ты скоро будешь причислен к их братии.

Гришкин Яша, еще пуще струхнув от такого разъяснения, сопел и отплевывался:

— Ах, чтоб тебе пусто было! Ну и где была моя голова: отпустить самого нечистого на все четыре стороны!.. Ах ты, господи! Ах ты, боже мой! Ведь, ей-право, был уже у самых ворот пастора.

Когда Яша ушел, кузнец Клав, обернувшись ко мне, спросил:

— Ну, племянничек, а ты тоже веришь в привидения?

— Нет, — неуверенно произнес я тихим голосом и почувствовал, как по спине забегали мурашки.

— И не верь, Андудис, в такие страсти, — продолжал дядя Клав, — это все суеверия, духовная слепота. Привидений да колдунов на свете не бывает. Я сам и есть тот бес, который напугал Гришкиного Яшу. Это ему наука, чтобы неповадно было ходить в суд и за чарку давать ложные показания.

И хотя дядя Клав уверяет, что это он явился Гришкиному Яше в образе беса, у меня при одном упоминании об этом сердце уходит в пятки и я пугливо оглядываюсь на все темные углы в кузнице — а вдруг... вдруг оттуда сейчас покажутся страшные рога и когти, про которые рассказывал Гришкин Яша!



## II

Наиболее яркие черты моего характера в ту пору — это трусость и жестокость.

Ох, этот страх! Этот безумный, неопиcуемый страх, от которого сразу мертвеют все другие чувства и сердце готово выскочить из груди!

И откуда он вдруг берется? Откуда он на тебя ни с того ни с сего свалится, этот страх, точно снег на голову?

Но вот ты повеселел. Тебе кажется: небо прояснилось и выглянуло солнышко, яркое-преяркое, наполняя каждую твою жилку несказанной радостью. И тебе не сидится, ты внезапно чувствуешь неумное желание скакать, как жеребенок, лазить по деревьям, словно кошка, парить на крыльях подобно птице...

А потом вдруг, словно гром среди ясного неба, ударит в голову этакая шальная мысль. И все тотчас поблекнет, померкнет, и подкрадется страх...

Мне и сейчас еще живо припоминаются эти неоднократные приступы страха.



Однажды, помню, это случилось осенью. На болоте за рекой народ косил сено. Весело и беззаботно скакал я между косцами по кочкам, по своим «островам в огромном море-океане». То подбегу к косцам поглядеть, как Петер, уперев в левое плечо косу, точит ее оселком, то снова стрелою умчусь далеко, на другой край. Бегал я бегал и вдруг вообразил, будто за мной гонится бешеная собака. Я сразу так обомлел от страха, что ноги стали пристывать ко льду. Но боже упаси оглянуться, я знаю — собака тут же тыпнет меня за ноги. И я бегу что есть духу к той сосне на бугре, где надеюсь спастись, бегу пыхтя и задыхаясь, потому что я вконец выдохся и дрожащие ноги не хотят больше слушаться, — бегу до тех пор, пока не падаю и не теряю сознание... и лежу долго-долго, сраженный немилосердным страхом, страхом перед бешеной собакой, перед самим собой, своим собственным вымыслом, порожденным разгоряченной фантазией.

В другой раз я натерпелся такого же страха лунной июльской ночью.

Вы знаете, как хороши эти июльские ночи, когда луна мягко вплетает свои лучи в серую ткань мглы и сказочная, волшебная кисея ложится на поля и луга. Вся окрестность, насколько хватает глаз, спит, погруженная в глубокий покой. Только на клеверном поле, словно заведенные часы, мерно, монотонно, неумолчно скрипит свои несколько нот коростель; а где-то там, вдали, за лесом, еще слышится изредка собачий лай, да и то все ленивее, тише. Ни страстных трелей соловья, ни отчаянного кваканья лягушек. Тишина...

Весенний угар уже прошел; хмельной шум утих. Все стало серьезней, мудрее, благоразумнее.

Июльская ночь — это любовь, в которой жар поцелуев уже позади, а на смену ему пришла тихая, спокойная, томная нега.

Сколько раз в детстве летними вечерами я со слезами упрашивал





взрослых пустить меня ночевать в поле под открытым небом.

Что может быть прекраснее!

Словно нашептывая на ухо колыбельную песенку, тянет с реки легкий ветерок, овеивая прохладой лицо, шею, неприкрытые плечи. Какое блаженство свернуться под теплым тулупом дяди Клава и до тех пор глядеть в зеленоватый купол неба, пока глаз не отыщет новую, раньше не замеченную звездочку... Вот где наслаждение!

Никогда, никогда мне не забыть эти чудные ночи, проведенные мальчишкой в ночном.

Ничто — ни могучие снежные лавины в Альпах, ни пленительные морские ночи в Венеции, ни величавые девственные леса Америки — никакая картина природы не в состоянии сейчас так тронуть мое сердце, как некогда трогали этот медленно вздымающийся с лона реки серый туман, это тихое баюканье ночной прохлады и две-три крохотных мерцающих звездочки на зеленоватом небосводе.

Спутанные лошади пасутся тут же, неподалеку, в низине на молодой отаве. Сидя у костра и бросая в кипяток раков, мы с дядей Клавом слышим, как они, пощипывая траву, чавкают и время от времени фыркают.

Дядя Клава, как пришел с реки — в одной рубашке, с засученными по локоть рукавами, растянулся во весь рост на влажной траве, подстелив под себя свой белый овчинный тулуп, и раздумчиво, устремив взгляд в сумерки, наверно уже в сотый раз, напевает мне одну и ту же длинную, немудреную песню о Виестуре, что сражался как лев у ворот Терветского замка, о Намее, который вихрем налетал на рыцарей из лесной засады.



Не шелохнувшись, словно завороченный, внимаю его безголосому пению, похожему скорее на глухое мычание, и перед моим взором встают картины одна другой кровавее, одна другой интереснее, одна другой завлекательнее.

И дядю Клава иные места, как видно, берут за душу. Я догадываюсь об этом потому, что он старается пропеть их задушевнее.

И когда он доходит до куплета:

Под сенью ночи, недоступны взорам,  
В лесной глуши собирались латыши.  
А на опушке прятались дозоры,  
Следя за каждым шорохом в тиши, —

голос его начинает странно дрожать и увлажненные глаза загораются восторгом.

А я — я замечаю, что от душевной встряски и непомерного возбуждения у меня захватывает дух, в волнении я не могу отвести глаз от сосняка, который высится по ту сторону реки подобно темной стене, каждую минуту готовый к тому, что из него вдруг, крадучись, выползут предки, вооруженные дубовыми палицами и еловыми дубинками.

Полночь давно минула. Костер совсем потух, угли истлели. Воздух заметно посвежел. Полоса зеленоватого света над



горизонтом переместилась с запада на северо-восток. Большая Медведица, передвинувшись на значительное расстояние, теперь смотрела совсем с другой стороны.

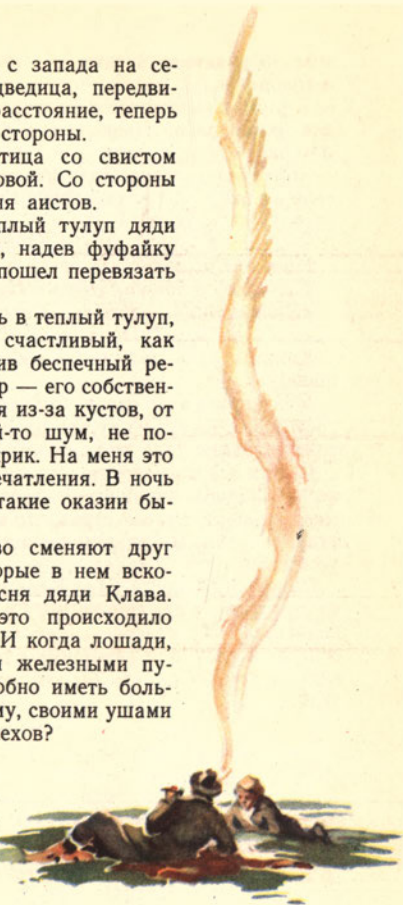
Какая-то неизвестная птица со свистом пронеслась у нас над головой. Со стороны жилья доносилась трескотня аистов.

Я успел залезть под теплый тулуп дяди Клава, в то время как он, надев фуфайку и набив глиняную трубку, пошел перевязать лошадей на новое место.

Лежу я себе, закутавшись в теплый тулуп, совершенно довольный и счастливый, как только может быть счастлив беспечный ребенок, для которого весь мир — его собственная фантазия, а в это время из-за кустов, от большака, доносится какой-то шум, не понять — не то пение, не то крик. На меня это не производит никакого впечатления. В ночь с субботы на воскресенье такие оказии бывают очень часто.

В моем мозгу еще живо сменяют друг друга все те картины, которые в нем всколыхнула замечательная песня дяди Клава. Мне чудится, будто все это происходило здесь, на том берегу реки. И когда лошади, поднимая ноги, забренчали железными путами, — да разве тут надобно иметь большую фантазию, чтобы самому, своими ушами услышать лязг копий и доспехов?

Кровь, в которой по колена утопают воины... головы, что наподобие льняных коробочек так и летят во все стороны... затаившиеся в лесу угрю-





мые бородатые предки — все перемешалось у меня в голове.

А шум, доносившийся со стороны большака, тем временем все усиливался. Пьяный все ближе подходил к нашему лагерю.

«Где же это дядя Клав запропастился», — думаю я про себя и гляжу в том направлении, куда он удалился, но ничего не могу разглядеть.

— Дядя Клав! — зову я вполголоса.

Никто не отвечает.

Мне становится как-то не по себе.

«Окликну-ка, — думаю, — погромче».

— Дядя Клав! Поди сюда-а! — кричу я что есть мочи.

Каким странным кажется собственный голос в ночной тишине!

Меня пронимает страх. Собираюсь кричать дяде Клаву в третий раз, но тут из кустов напротив громко раздается протяжное, залихватое ку-ка-ре-ку-у!

И хотя я сразу смекаю, что это дядя Клав хочет попугать незадачливого нарушителя воскресной утренней тишины, меня пробирает такой страх, что я мгновенно сую голову под тулуп и с каждым ударом сердца жду чего-то необычайного, ужасного...

Даже тогда, когда дядя Клав возвращается и ложится со мною рядом, я все еще не могу успокоиться. Сердце в груди колотится, как подстреленная птица, и, весь дрожа, точно осиновый лист, я прижимаюсь к широкой спине своего большого друга, боясь, как бы кто-нибудь не схватил меня и не унес.



### III

Воспоминания о родителях связываются в моей памяти с первыми впечатлениями от воскресных дней.

Теперь для меня все дни в году одинаковы; все однообразные, бесцветные, лишённые характера, — они проходят один за другим, как будни, так и праздники, не пробуждая о себе никаких мыслей, не будя в сердце никаких чувств.

А тогда — тогда воскресенье стояло недостижимо высоко над всеми прочими днями. Оно было милым, желанным гостем, прихода которого с нетерпением ожидали, и чувствовали в сердце болезненную пустоту, когда оно проходило.

Тогда казалось, будто по воскресеньям солнце светит ярче, в воздухе разлита небывалая торжественность и весь мир одет дивным покровом покоя, счастья и неги.

Уже в субботу вечером видно, какой завтра выдастся день. Бабы подметают дворы, девки начищают подошвы, мужики сбривают отросшую за неделю щетину.

Охваченный сладостным ожиданием, я тоже не могу усидеть без дела: мне хочется помогать мести, разравнивать, наводить порядок, отгребать граблями мусор к скотному двору.

И когда все прогоны, все дорожки уже расчищены и на них ложатся тихие вечерние сумерки, я, приплясывая, точно жеребенок, снова оббегаю их из конца в конец несчетное число раз, пока мать не позовет ужинать... А тогда уж и спать пора.

Ах, этот сон! Этот нежный, здоровый ребячий сон! Тебя принимает жесткое ложе, словно мягкие руки милой матери, и ты спишь так сладко, словно в волшебной люльке, убаюканный добрыми духами...

Но вот слышится голос отца:

— Мужики, бабы, парни, девки — на молитву! Вставайте на молитву!

Во всех углах начинают понемножку копошиться, перегариваться, тарыхтеть и умываться.

— Вставай и ты, сынок, вставай! Все уже поднялись. Пойдем помолимся богу, потом позавтракаешь, — раздается над моей постелью ласковый голос матери.

А мне до того не хочется вставать! Сон так сладок, так сладок — пошевелиться лень.

Сквозь сон слышу, как в соседней комнате передвигают стол и приставляют к нему стулья.

Потом скрипит дверь, которая ведет на кухню.

Я уже догадываюсь, кто входит.

А мать опять за свое:

— Да просыпайся же, сынок, просыпайся! Хватит тебе дня, выпспишься.

И, подойдя к постели, принимается через одеяло щекотать мне бока.

— Мама, не щекочи!.. Мама... ай!.. Зачем ты щекочешь?! Я сейчас встану!.. Сейчас же встану!..

— Ну, вставай, вставай, малыш! — торопит мать. — Уже все готовы, все собрались... Вот твои новые штаны!.. А куда ты вчера девал ботинки, когда начистил?

— Там, где часы стоят, за дверью, — бормочу я сонным голосом и снова закрываю глаза.

Мать приносит ботинки и говорит:



— На вот, обувайся, да порасторопней! И живо ступай умываться, не то отец тебе задаст!

От такой угрозы я взвиваюсь, словно пришпоренный конь. Я знаю — отец шутить не любит.

Минуту спустя я уже одет и вхожу вместе с матерью на другую половину, где вокруг длинного коричневого стола собрались наши домашние.

Дрожащим, невнятным голосом отец первый запекает хорал, и, по дедовскому обычаю, завывая и подтягивая, в хор постепенно вступают все.

Стоя в конце стола возле матери, я какое-то время смотрю в молитвенник на «черные закорючки». Потом начинаю разглядывать всех по очереди сидящих за столом. У служанки Мады — самый длинный нос. Почему она красный платок не повязала на голову, а накинула на плечи? .. Ой, какие толстые синие жилы на руках у матери Петра! А зачем Петер, когда бреется, оставляет под ушами по желтому пучку волос? .. И как это старый Симанис может разглядеть что-нибудь, держа книгу на отлете? И для чего он спустил очки на самый кончик носа? .. Он же вовсе не смотрит сквозь очки, он смотрит поверх очков.

Мне становится скучно. От нечего делать засовываю пальцы в уши, потом начинаю ими шевелить в ушах. Какой удивительный прерывистый шум! .. И до чего здорово получается! .. Как это я до сих пор не знал такого фокуса? Только бы хорал подольше не кончался! ..

Но тут отец неожиданно подымает глаза от молитвенника. От его грозного взгляда у меня мурашки бегут по телу. Я мигом вынимаю пальцы из ушей и снова благочестиво складываю руки на груди.

Песнопение кончилось. Все встают. Отец торжественным голосом читает проповедь.

Потом поют другой хорал ...

«Отче наш ...» — и я тараторю вместе со всеми, в восторге от того, что молитва подходит к концу.



Как только раздается последний «Амины!», я целую руку сперва матери, потом отцу и пулей вылетаю во двор.

Какая зелень кругом!.. Как сияет солнце!.. А бабочек сколько!..

— Андис, Андис! Куда ты побежал?.. Сейчас же иди завтракать! — слышится позади голос матери.

— Сейчас, мамочка, сейчас! — кричу в ответ, даже не оглядываясь. — Я только поймаю вон ту бабочку!.. Ой, какая она красивая!.. Я ее скоро, скоро поймаю... Вот она, уже накрыл... сейчас... сейча-ас! Цап!..

А бабочка с подсолнечника вспорхнула на картошку, с картошки садится на густую лебеду, с лебеды улетает на капустные грядки.

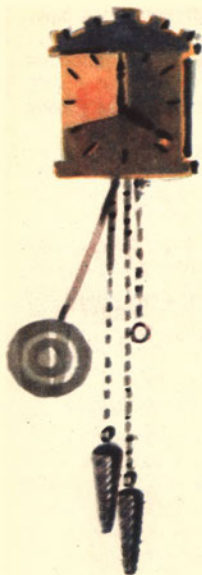
Разгоряченный, гоняю ее с грядки на грядку. Вдруг чувствую, как кто-то хватает меня сзади за плечи.

Это мать. Она говорит:

— Вот сорванец!..

Ведь я же только хотел поймать красивого мотылька...





#### IV

По воскресеньям, заметил я, отец всегда снимал с маленького шкафчика, подвешенного в углу на стене в той же комнате, где висели часы, толстую черную книгу, садился за стол, приглаживал свои седеющие волосы, протирал глаза носовым платком и начинал потихоньку читать; при этом лицо его принимало столь же серьезно-торжественное выражение, как на молитве, а по его бритым щекам (он постоянно брил и бороду, и усы) порою скатывалась слеза.

В такие минуты я норовил улизнуть из дому, потому что стоило только громыхнуть стулом или погромче топнуть (что получалось в новых ботинках когда нарочно, а когда и нечаянно), — как все это беспощадно каралось ремнем по спине.

В большой черной книге, верно, что-то необыкновенное, исключительное, что-то печальное-препечальное, раз уж отца прошибает слеза, отца, который никогда не плачет.

Эта мысль не дает мне покоя.

Спросить об этом у отца не хватает духу. Кто знает, может быть, этот вопрос глупый, несуразный. Отец еще рассердится, — что тогда будет?.. Я страх как боюсь отца!.. А мать?.. С ней договориться гораздо легче.

И я бегу к матери.

— Мамуля! — ласково подступаю к ней, вертась вокруг ее юбки.

— Ну, ну, сынок! Есть, что ли, опять захотелось? — грустно улыбаясь, спрашивает она и гладит меня по голове.

— Мама! Я... Ты только не говори отцу, что я у тебя спрашивал... Не скажешь?





— Ах ты, господи! Да что же это за секрет такой, про который никому больше знать нельзя?

— Ну, мама! . . Ты не скажешь? . . Правда ведь? . . Ты не скажешь? . .

— Да ладно, не скажу, не скажу, детка, говори смело, — обещает мать, потому что я все не отстаю.

И, крепко прижимаясь к ней, переходя на шепот, я смущенно спрашиваю:

— Мамуля, скажи мне, что написано в той большой черной книге, которую отец читает? Она лежит по будням там, на маленьком шкафчике, и когда отец ее читает, он плачет . . .

Мать, глядя меня по щекам, говорит:

— Учись, сын, читать, тогда сам все узнаешь, что в той книге написано! Там много-много чего написано. Всякие притчи и псалмы, а назиданиям да премудростям — конца нет. Есть там рассказ про богобоязненного Иосифа, которого братья продали в рабство, а он потом сделался великим правителем всей земли Египетской. И про Давида, который пас овец и играл на гуслях, и про негодяя Авессалома, которого бог за волосы повесил на ветвях дуба.

— А за что, мамуля, бог его повесил? — глубоко взволнованный, спрашиваю я.

— За то, сын, что он не почитал своих родителей, за то, что оклеветал отца родного и пошел на него войной.

— А откуда, мамуля, бог взял веревку?

— Богу, детка, и не надобна была веревка. Бог его повесил так, без веревки. У Авессалома были длинные волосы, такие длинные да густые, как у дяди Клава. За них бог его и повесил.

Словно в волшебной панораме, увидел я тотчас старый дуб в соседнем саду и висящего на нем кузнеца Клава. У меня дрожь пробежала по телу. И хотя я не вполне уразумел смысл слов и понял суть дела, однако сообразил, что это означает нечто ужасное.

— Да, сынок, вот какие дела: все это написано в той боль-

шой черной книге. А потом там есть еще про младенца Иисуса — как лежал он в яслях, а вокруг него ангелочки пели:

Слава в вышних богу!  
Мир на земле  
И в человецех благоволение!

А что же означают эти слова?

С той поры я стал учиться грамоте.

Я уже не могу припомнить, сколько лет мне тогда было и как мне давалось учение. Помню только, что я все время терял заостренную палочку — указку.

Мать выберит меня за то, что я не умею беречь вещи, и велит Маде сделать новую.

Я чувствую за собой вину и сконфуженно опускаю глаза.

Такая безделица... Такая малюсенькая, тоненькая палочка... Долго ли ей потеряться... Выскочит из книги и — нет ее, пропала.

— Мамочка, — говорю я, — был бы у меня такой длинный нос, как у Мады, я бы обошелся без указки.

Мать с усмешкой глядит на меня, и мне становится стыдно.

Помнится еще — когда, бывало, долго гляжу на буквы, у меня начинает рябить в глазах. И тогда мать выпускает меня гулять.

Первым делом обегáю все прогоны. Потом несусь до кузницы дяди Клава и возвращаюсь обратно. После этого убегаю довольно далеко по большаку и, снова воротившись, мчусь на речку. Сажусь на берегу, зарываю голые ноги в прохладный нижний слой песка и, машинально набирая в горсть и просеивая сквозь пальцы горячий песок из верхнего слоя, долго любуюсь на речную гладь, где серебряные зайчики солнечных лучей прыгают и мелькают — ни дать ни взять как буквы в книге.

Мне так хочется уплыть в лодке на середину реки, в серебристую рябь, — но я боюсь, не смею послушаться: увидит мать, отец... Отец мне строго-настрого запретил садиться в лодку...

## V

И все-таки я однажды нарушил этот запрет. Это было летом, во время сенокоса. Все наши домочадцы отдыхали после обеда.

Укравкой, как молодой волчонок, прокрался я вдоль забора к реке.

Река была такая тихая, такая гладкая. А кругом царила глубокая тишина, такая бывает только в пору сенокоса.

На берегу не было ни души. Одни стрекозы сверкающе-трепетными крылышками порхали над аиром и водяными цветами.

А вдалеке, у подножия холма — старого кладбища, — на заливном лугу паслось несколько лошадей.

Отвязав лодку, я прыгнул в нее и оттолкнулся веслом от берега. Мне не раз доводилось видеть, как гребут другие, и теперь я принялся так же, как они, размахивать веслом во все стороны. Но лодка плыла не туда, куда я хотел, вверх, в серебряные блики солнца, а медленно скользила вниз по течению.

Лодка подплыла к густым зарослям камыша и остановилась.





Там росли большущие листья кубышки, круглые, как лошадиные копыта. Они лежали на поверхности воды, при-вольно греясь на полуденном припеке.

Но когда от плеска весел зеркало воды пошло кругами, они тоже заколыхались на волнах вверх и вниз, как живые желтые водяные птицы, в то время как белые кувшинки рядом с ними совсем погрузились в воду.

Там водились растения и с белоснежными, и с желтыми цветами, и они пахли так сладко, так изумительно сладко!

Положив весло, я перегнулся за борт лодки и стал рвать водяные лилии...

И вдруг слышу отчаянный вскрик. На берегу промелькнула человеческая фигура и снова исчезла.

Встрепенувшись, я выпрямляюсь в лодке и хватаюсь за весло.

К воде со всех ног бежит отец. Проворно сбрасывает с себя верхнюю одежду и бросается в воду.

Меня охватывает дикий страх. Я дрожу и реву благим матом.

На берег тем временем сбежались без малого все люди из нашей усадьбы. И мать стоит там же, ломая руки. Все это меня приводит в крайнее замешательство.

И как меня угораздило послушаться отца?.. Как меня угораздило совершить такое преступление?..

И я реву и всхлипываю, дергаюсь, словно в судорогах, заранее страшась гнева отца, реву от сознания того, что я на-творил, от растерянности, от всего, что вокруг меня проис-ходит.

Отец в это время доплыл до лодки.

— Папа! Я никогда больше не буду так делать! Я никогда больше не пойду на реку! Никогда не буду кататься на лодке!

А отец кричит мне:

— Положи весло!.. Сиди спокойно и не вставай!

Сам же, ухватившись одной рукой за конец лодки, а дру-гой рукою гребя в воде, тянет лодку к берегу.

А я сижу, прикинув к скамье на другом конце лодки, бледный и дрожащий от страха перед неизбежным наказанием.

Почему меня не наказали?.. Даже не отругали...

Напротив, отец со слезами на глазах долго-долго увещевал меня проникновенным голосом.

Как только мог живо, он обрисовал мне возможные последствия моей проделки; изобразил мне, сколь несчастными мог я в один миг сделать его с матерью. Мать с горя состарилась бы и умерла, а тогда бы и он с тоски умер, и остался бы я на свете сиротой, без отца и без матери...

Этот разговор произвел на меня глубокое впечатление. Я плакал горше, чем если бы меня наказали розгой.

Я совершил преступление такое тяжкое, такое злостное, и все-таки отец меня простил. И при этом еще он увещевал меня таким нежным, таким кротким голосом, как никогда раньше.

После этого случая я стал смотреть на отца совсем другими глазами. До тех пор он представлялся мне только грозным, жестоким судьей, перед которым я всегда трепетал и которого страшно боялся. А теперь я впервые увидел в нем отца — отца любящего и заботливого, который наставлял меня, родное дитя, с любовью и лаской.





## VI

С приходом зимы я начал больше заниматься чтением. Теперь моей любимой книгой стал «Школьный хлеб». Большую черную книгу я лишь изредка брал в руки. Все ее тайны мне были уже известны.

Помню еще, как длинными осенними вечерами я вслух читал ее матери, она в это время сидела за прялкой посреди

комнаты, а отец, лежа в постели, мирно попыхивал своей трубкой.

За окном до того темно, до того темно, что я ни за какие деньги не согласился бы выйти один во двор, хотя бы даже только за порог.

Иной раз с истошным криком в окно ударится залетевшая из бора сова. И собаки, то близко, то вдалеке, завывают наперебой, да так пронзительно и так жалобно, что мне, даже в кровати лежа, частенько становится жутко.

Больше всего мне нравится в большой черной книге читать про храбрых Макавеев.

Иногда мать просит почитать ей псалмы Давида.

А чего хорошего в псалмах Давида? Что там, описываются сражения, что ли? Или кого-нибудь жгут каленым железом? Или кому вырывают язык? — Нет, не нравятся мне псалмы Давида. Моей фантазии подавай крови по колено. Вот бы здорово — прыгать по трупам поверженных врагов, упиваться воплями мучеников, наблюдать, как их пытаются мучители.

Псалмы Давида не волнуют мое воображение.

Бывает, мама велит мне почитать из Нового Завета.

Читая, я составляю себе о многих вещах совершенно новое представление.

Нищие в моих глазах





уже не просто оборванные мужики, которыми порою меня страшит Мада, — они существа из другого мира. На овец и на голубей я тоже начинаю смотреть другими глазами.

Но мне скоро надоедает читать Новый Завет, и, дочитав начатую главу, я спрашиваю у матери:

— Мамуля, а ты всю библию прочитала?

Мать что-то бормочет себе под нос.

— И книги Маккавеев?

Мать легонько кивает головой.

— Мамуля, у Маккавеев только две книги. Почему у них только две книги?

Мать молчит.

— Мамочка, я почитаю еще раз вторую книгу Маккавея! А? Можно?

И мать, чтобы наконец отвязаться от меня, соглашается:

— Да читай себе, читай.

И я (наверно, уже в двадцатый раз) принимаюсь читать все те же страсти о семи братьях, которых немилосердно истязали на глазах у матери, и про озеро крови, и про пятерых статных всадников на конях в золотой сбруе.

Время от времени я спрашиваю:

— Мамуля, ты слушаешь? . . Мамуля, ты слышишь?

И мать, выведенная из раздумья, отвечает:

— Слышу, сынок, слышу, читай дальше!

И я читаю дальше, без передышки, пока мать не остановит:

— Отдохни, сынок! Притомишься — опять, чего доброго, глаза заболят.

Я кладу тяжелую книгу возле себя на постель и начинаю лениво блуждать взглядом по комнате.

Маленькая лампочка тускло освещает старые, щелистые

деревянные стены со следами голубоватой побелки. На одну стену в профиль ложится тень матери. Она похожа на большую страшную ведьму, сидящую за огромной прялкой с такой же огромной куделью, которую она беспрестанно теребит своими длинными сухими пальцами и то и дело их облизывает.

На закопченном потолке кое-где по углам виднеется серая паутина.

За толстые потолочные балки заткнуты связки лука, пучки тмина, мята курчавая, аршин и большие ножницы. Ножницы вынимают только тогда, когда приходит пора стричь овец, а кончат работу — ножницы опять убирают на место.

В изножье отцовской кровати, в углу под потолком, висит пузырь и отцовские высокие болотные сапоги. По стенам на вешалках развешана всякая одежда, тут и новая, тут и старая.

Ага! Из-за печки друг за дружкой выскакивают рыжие тараканы. Пробегают до середины стены и останавливаются, шевелят усами, будто раздумывая, что дальше делать, а потом темной нитью снова тянутся в запечье.

А когда они елозят по луку, то отчаянно шуршат сухой луковой шелухой и часто с шумом срываются на пол.

Сколько раз я слышал, как отец говорил:

— Хоть бы еврей-коробейник забрел ненароком, что ли!.. Вывел бы эту нечисть. А то ведь на живых людей бросаются.

Монотонно жужжит прялка, и мне, лежа в постели, так приятно вслушиваться в ее монотонное жужжание. Слушаю и смотрю на сизый табачный дым, облаками плывущий по комнате.

Больше не разговариваю. Только смотрю и не двигаюсь. И постепенно все мое тело охватывает усталость. Глаза все

больше слипаются и слипаются. Жужжание прялки отодвигается все дальше и дальше — пока, наконец, совсем не стихает...

И легкокрылый сон своим волшебным ключиком закрывает мои смеженные веки.





## VII

«Школьный хлеб» вводит меня в совершенно новый мир. Рассказы о «знаменитых мужах и событиях» до того волнуют меня, что я даже по ночам не могу спокойно спать. Помню, как я ревел, читая про изгнание Наполеона на остров Св. Елены. Читал я в тот раз в саду, растянувшись на полотнище холста, разложенного на солнце для отбелики.

Мать, проходя мимо меня, спросила, что со мной.

Я соврал, будто чувствую резь в животе, — мне было стыдно признаться, в чем настоящая причина слез.

Поэтому и не был отвергнут ромашковый настой, предложенный матерью.

А в ушах у меня целый день стоял грохот лейпцигских орудий, мне представлялось, как там земля ходит под ногами и гремят окна в городе.

Я не в силах был себе представить, что такой великий дух может погибнуть. В своих бесчисленных импровизациях, которые вертелись исключительно вокруг стрельбы и боев холодным оружием, я никогда не давал герою погибнуть.

Даже тогда, когда враги изрубали его на мелкие части, он неизменно по прошествии часа снова оживал и становился еще могучее прежнего.

А почему Наполеон должен погибнуть? Да, почему? Почему? . .

Все, что меня увлекало при чтении, я тут же наглядно представлял в лицах. Вот я, как Ганнибал, гоню против римлян быков с привязанными к рогам пучками горящего хвороста. Как Леонид при Фермопилах, сражаюсь с персами. Как Александр Македонский, смиряю бешеного Буцефала и вместе с ним скорблю об убитом в приступе ярости Клите. И безумная храбрость Карла XII меня тоже покоряет.

«Ха! Там стоят датчане! . . За мною, шведы! . . В море! . . Вперед! . . Слышите, свистят пули! . . Какая прекрасная музыка! . .»

И, размахивая, точно Карл XII, палашом над головой, с гиканьем и криком мчусь на врага.

Густой репейник вдоль забора ломается от удара хворостины. Колючие головки разлетаются во все стороны, словно льняные коробочки вокруг льняной щетки. Из перебитых стеблей сочится зеленоватый сок. Гаучо ни днем, ни ночью не может обойтись без пончо. Я тоже постоянно таскаю с собой какую-нибудь квадратную тряпку. Гаучо — отличные наездники: они будто прирастают к спине лошади. За мной на вороном Мустанге (длин-





ной черной ольховой хворостине) тоже ни одному страусу не угнаться!

Вон в прерии промелькнула голова дикого быка!

Ну, Мустанг, гоп!..

В ушах свистит ветер... По стремянам хлещет высокий степной ковыль... Развевается на ветру пончо...

Вперед же! Впере-ед!

Мустанг, в карьер! Мустанг, в карьер!

Он думает удрать!.. Не выйдет!.. Один бросок лассо, и он грянулся об землю!.. Где бола?.. Тяжелый шар бола рассекает ему лоб!.. Свесившись с Мустанга, охотник вдобавок вонзает в шею разъяренному дикому быку четырнадцатидюймовый нож, который болтается в кожаных ножнах у него за поясом.

Начитавшись про войны североамериканцев с южанами, я тут же устроил в пруду посреди лужайки «великое морское сражение» между «Меримакой» и «Кумберлентом».

Корабли мне помог смастерить из камыша дядя Клав. Там было все, как на взаправдашном корабле: мачты с реями и переплетами вантов; веревочные трапы, по которым взбираются матросы; марсовая бочка, в которой днем и ночью сидит матрос с подзорной трубой, вглядываясь вдаль; а также каюта, якорь и паруса.

Дядя Клав, как и полагается, выковал для «Меримаки» два железных рога и прикрепил их к нему.

Матросов тоже хватало. Матросами служили деревянные чурки и пробки, собранные во дворе.

Какое великолепное зрелище, когда при легком ветерке по тронутой зыбью поверхности пруда друг за другом плывут корабли! Но вот началась битва!

Как разъяренный бык, выпятив рога, устремляется «Меримака» на «Кумберлента». «Кумберлент» осыпает его градом пушечных снарядов! А «Меримаке» хоть бы что. Он

смело идет вперед, разбрызгивая воду во все стороны — и вспарывает своими рогами бок «Кумберленту»...

Караул!.. Корабль тонет!.. Ур-ра!.. Спасите! Спасайте матросов, не то их проглотит акула... Вот! Вода уже заколыхалась!.. Спасательную шлюпку! Живее! Живее!.. Поздно!.. Вынырнувший кайман увлекает всех их на дно!..





## VIII

Давно отошли мои вольные денечки. Мать не пускает меня во двор. Каждое утро она велит обуваться и повязывать шею ситцевым платком, чтобы не схватить кашель.

Иногда мне все-таки удается тайком выбраться из дому. Тогда уж я гоняю сколько душе угодно.

Первым долгом бегу на пруд, где я летом пускал корабли. Пруд уже затянуло тонким слоем льда.

Понабрав камешков, швыряю ими в лед. При каждом ударе ледяная корка ломается и раздается удивительно нежный, музыкальный звон.

А вдруг это водяные разговаривают между собой?..

Мне становится страшно, и я убегаю с пруда, лечу к дяде Клаву.

Э-э, а я знаю, что спрошу у дяди Клава! Ага, вот будет здорово!

Захожу — он как раз обедает.

— Здравствуй, дядя Клав!

И, важно подбоченившись, становлюсь против него.

— Дядя Клав, угадай, кто скорей расшибется — кто полетит со стола или кто полетит с колокольни?

Вместо ответа кузнец Клав задает мне вопрос: что тяжелее — фунт железа или фунт пера?

Метко нацеленный удар моего меча отбит этим щитом. Похлебав несколько ложек щей, бегу обратно домой.

А река? . . Да, какова-то сейчас река? . .

И, прокравшись вдоль забора, несусь на реку.

Ух, какая она свирепая, черная! . . А волны-то какие! Я таких громадных волн сроду еще не видывал! . . И вода поднялась намного выше . . . Брр! До чего холодный ветер!

Метнув в воду несколько камней, которые я вышиб из мерзлого песка каблуком ботинка, направляюсь домой. Дома получаю от матери хороший нагоняй.

— Сейчас самая гнилая погода, — убеждает она, — в воздухе носятся всякие болезни. Неужто не можешь угодиться, пока снег не выпадет?

И каждое утро, как только вылезаю из постели, я бегу к окну поглядеть, не выпал ли ночью снег.

Я знаю: выпадет снег, а там уж недолго и до рождества.

Это мой самый любимый праздник. Ждать, конечно, ждешь все праздники, ведь все они чудо как хороши: и троица, когда утром просыпаешься в маленьком волшебном лесу среди душистой черемухи и молодых кудрявых березок; и пасха, когда можно высоко-высоко, как птица, до самых ветвей липы, полетать на качелях, чувствуя, как все тело пронизывает странный, неопиcуемый трепет.

Но мама никогда не позволяет сильно раскачиваться. Еще голова закружится — и упасть недолго. Зато на рождество

мне разрешается кататься на «карусели» с такой скоростью, с какой кузнецу Клаву под силу вращать колесо, к которому на длинной веревке привязаны салазки.

А что уж говорить про елку!.. Золотые и серебряные орехи!.. Сахарные сигары!.. Медовые пряники!.. Конфеты! Яблоки и всякие другие лакомства!..

Один раз, помню, на рождество дядя Клав подарил мне губную гармошку и маленькую скрипку. В ту же зиму мы с дядей Клавом пристрелили зайца.

Это у меня еще свежо в памяти. В полдень на припеке с крыш звонко падала крупная капель. А под вечер, когда посвежело, весь край крыши был унизан длинными сверкающими сосульками, похожими на серебряные сигары.

Насшибав палкой сосулек, я совал их в рот и потягивал, как сигары.

Тут вижу — идет дядя Клав. Держа «сигару» во рту и гордо приосанившись, двинулся я ему навстречу, ожидая, что он ахнет от удивления и похвалит меня.

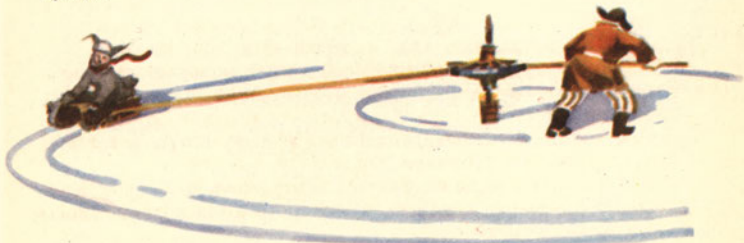
Но вместо похвалы дядя Клав меня выругал и велел сейчас же выбросить ледышку.

Я глаз не мог поднять от стыда и смущения.

Видя, что я совсем скис, дядя Клав говорит:

— Знаешь что, племянник? Пойдем нынче ночью охотиться на зайцев.

— Дядя Клав, а куда? — спрашиваю я, снова воспрянув духом.





— Да недалеко, в сад, — отвечает кузнец Клав.  
Зайцы осаждали посаженные отцом молодые яблоньки.  
Ни одной ночи не проходило, чтобы они не оставили в саду  
своих следов.

Отец как-то обмолвился об этом кузнецу Клаву, и тот обещал задать разбойникам перцу.

Как только стало смеркаться, мы забрались с дядей Клавом в соломенный шалаш, из которого были хорошо видны молодые саженцы.



Заряженную двустволку дядя Клав положил подле себя. Каждые четверть часа заметно убывал дневной свет. Однако свыкшиеся с темнотой глаза могли довольно ясно различать на ярком снежном покрове окрестные предметы.

По большаку время от времени проезжали дровни.

Изредка доносился собачий лай.

Потом постепенно все звуки замерли.

Над белесым снежным простором воцарилась глубокая тишина.

Уже несколько часов прошло, как мы засели в шалаше. Стало прохладнее. Но мать так замотала меня разными платками, что хоть в сугроб завались спать, и то холод не проберет.

Около десяти часов взошла луна.

Чудно поблескивали в ее серебристом сиянии заснеженная поляна и Варлавская березовая роща, маячившая вдаль.





А заяц не идет и не идет.

Мне уже наскучило так сидеть. Я даже высказал дяде Клаву предположение, что заяц этой ночью вовсе не появится.

Дядя Клав застегнул белый нагольный тулуп и сердито буркнул:

— Надо еще обождать.

Мы продолжали молча ждать.

Прошло еще около часу.

Я уже начал терять терпение. Да и сильно клонило ко сну...

«Как приятно очутиться сейчас в постели», — думаю я про себя и закрываю глаза...

Вдруг дядя Клав толкает меня в бок.

Открываю глаза, всматриваюсь и вижу на пригорке тень, которая небольшими скачками надвигается прямо на нас.

— Ну, видишь, вон косой петляет? — шепотом приговаривает дядя Клав, а сам берет в руки ружье.

Меня охватывает невыразимый восторг.

А заяц прыгает все ближе и ближе.

Опасаясь, как бы он нас не заметил и не задал тягу, оборачиваюсь к кузнецу Клаву и потихоньку шепчу ему:

— Дядя Клав, пали в него!

Но дядя Клав мотает головой, знак подает, чтобы я молчал. А заяц тем временем уже подобрался к самому саду.

Ух, какой здоровущий! И до чего потешным он кажется при свете луны!.. Ничуть не похож на зайца... А кто знает... да, кто знает... может, он...

И меня подирает мороз по коже — я вспоминаю рассказ деда про зайца с Черного болота.

Верно говорят: выстрелишь в такого заколдованного зайца, а дробь от него отскочит и попадет в стрелка.

Меня вдруг пронизывает неистовый страх.

Догадка, что заяц заколдованный, целиком завладевает моими мыслями. Я уже совершенно уверен, что вот сейчас

дядя Клав выстрелит и дробь, отлетев от зайца, поразит нас самих.

Я весь задрожал от страха и только было хотел сказать дяде Клаву, чтобы он не стрелял, как вдруг в ночной тиши прогремел выстрел и несколько раз отозвался эхом в сосновом бору по ту сторону реки.

С минуту я был словно без памяти...

И только после второго выстрела, когда дядя Клав, поднявшись на ноги, промолвил:

— Ну, пойдем, снесем домой этого постреленка, — я как будто пришел в себя.

Но дяде Клаву я ни словом не обмолвился о своих страхах.





## IX

Проходит рождество — и для меня пропадает вся прелесть зимы.

После целого года езды наконец взбираешься ты на гору, с которой весь мир, насколько хватает глаз, сверкает для тебя в сказочном розовом освещении. И вдруг оказывается, что надо немедленно отправляться в обратный путь, вниз, в серую, унылую долину, по которой целый год придется ехать, чтобы снова взобраться на чудесную гору.

Зима с каждым днем становится для меня все невыносимее. Все мои думы, все мои чаяния, словно резвые

пташки, летят теперь навстречу весне... Да, весна... Весною все так прекрасно, так полно всяких неожиданностей!

Под снегом — журчащие ручьи... Ледоход на реке... Первые жаворонки в прозрачном солнечном небе... Стонущие над болотом чибисы... и первая зелень на косогорах, такая мягкошелковистая, до того свежая и пахуче-молодая, что просто не знаешь, то ли целовать ее, то ли нюхать, то ли в рот брать.

Мысли и чувства весной разбредаются во все стороны, словно гуси на ржище.

Но самое большое удовольствие для меня весной — это напасть на птичье гнездо.

Я облазил все закоулки под стрехами и на чердаке, с кошачьей зоркостью осмотрел на огороде каждый куст терновника, каждый тычок в горохе, разведаль все поленницы и кучи хвороста.

Я знаю, сколько ласточек выводят птенцов на сеновале, сколько на чердаке над нами. Знаю, сколько птенчиков в каждом гнезде, из какого гнезда птенцы скоро будут вылетать и где крошки только еще обрастают первым пушком.

И старую иву против маленького банного колодца на берегу реки я тоже проверяю каждый год.

Ивовый ствол уже наполовину сгнил. В выгнивших дуплах каждую весну селятся разные птичьи пары: скворцы, воробьи, синицы и другие.

Однажды из дупла старой ивы я вытащил совсем незнакомую птицу — пеструю, с рыжевато-черной полосой на спине. Только это я ее на свет вытащил, как она, словно умирая, свесила головку, скрутив кольцом шею.

«Наверно, я нечаянно стиснул беднягу, когда вынимал из гнезда», — подумал я и положил ее на траву, — авось все-таки отойдет. Но не успел я и руку отнять, как она — порх! в воздух и улетела за речку.





Мать сказала, что, стало быть, это была вертишейка.

В поленище возле риги выводила птенцов синяя трясогузка. В кустах терновника свили гнезда сорокопуты. В плетне и в кучах хвороста гнездились крапивники.

Иногда, бывало, наткнешься на птичье гнездо, где и думать не думал: то в составленных посреди двора палисадных тычинах, то во мхе, то между корнями деревьев, то под притолокой. А раз как-то даже на конце прижимины, прислоненной к стрехе овина.

Но гнездо это я обнаружил только после того, как птенцы уже вылетели. А может, и кошка их съела.

В конце сада стояла толстая-претолстая липа, на которую в пасху вешали качели. Ее возраст невозможно было определить. Самые древние старики в деревне рассказывали, что при жизни их дедов она была такой же огромной и толстой, как теперь.

Сердцевина у липы выгнила. А ее толстенный ствол не могли бы обхватить и трое-четверо людей.

В бесчисленных ее дуплах обитал целый легион галок, дроздов, воробьев и всевозможных других мелких птиц.

А на вершине липы устроил себе резиденцию длинноногий аист. С апреля месяца и до августа он там беспрестанно трещал в свою трещотку. Иной раз даже поздно-поздно ночью, когда всю природу уже окутывали густые сумерки и тишина.

Весною я наведывался к этой липе чуть ли не каждый день.



Нижние ветви ее были обрублены, и на местах среза выросли густые, длинные отростки, которые свешивались до самой земли.

Держась за эти отростки и упираясь ногами в жердь плетня, я взбирался на толстые ветви, а потом по густым нижним веткам соскальзывал на землю.

А когда в конце мая с макушки липы стало раздаваться многоголосое карканье и щебетание, тогда я вскарабкался по толстому стволу липы доверху, пока не добрался до аистова гнезда.

Вот это да! Целая куча хвороста! Снизу она и вполовину не кажется такой огромной.

Почему это у маленьких аистят ноги и клювы черные, а у больших они красные?

Залез в гнездо.

Как далеко все видно вокруг!

На востоке блестит колокольня. На юге возвышается холм, поросший деревьями... А болото!... А вон река!... Какая она отсюда красивая! Будто широкая серебряная лента, устремляясь в дальнюю даль, извивается она среди зеленых лугов!...

Люди, что вдалеке работают в поле, похожи на кукол. Плуг кажется игрушечным, а лошадь — не больше жеребенка.



А у меня над головой, без умолку шелкая клювами, кружатся старые аисты. Порою они спускаются так низко, что мне даже слышен свист их крыльев. Иногда так и кажется, что аист вот-вот кинется на меня.

Спускаясь вниз, я осматриваю и обшариваю каждое углубление. Случится найти какую-нибудь птицу — вытаскиваю ее, разглядываю и, налюбовавшись, отпускаю на волю.

Но в большие дупла не осмеливаюсь совать руки; даже заглянуть в них боязно. В них такая непроглядная тьма!.. Кто знает, может я наклоню голову, а меня — цап-царап! змей или еще какое-нибудь чудовище и затащит туда!.. Бррр!..

Иногда я набираюсь храбрости и швыряю в дупло камень, и он там падает, будто обо что-то стукаясь, глубоко-глубоко падает, может быть до самой земли, глухо тарахтя в крошечной тьме.

И ногу на край дупла боже упаси поставить. Если же, бывает, захочется посидеть, то я всегда ищу такую ветку, которая была бы подальше от этого страшного места.

Когда липа цветет, мне особенно нравится сидеть на ней. Какой сладкий, медовый аромат течет в рот! Как приятно звучит в ушах тысячеголосая трудовая песня пчел!..





## Х

Что же это такое? . . Я их так люблю, этих птиц, что летаю надо мной, и всех мелких тварей, бегающих по земле. Я ни у одной птички гнезда не разорил, никогда с умыслом яичка не разбил. Осторожно, затаив дыхание, подхожу я к каждому гнезду.

А осенью, когда гляжу на журавлей в поднебесье, летящих в теплые страны, или вижу в кустах среди голых веток пустое птичье гнездышко, меня охватывает такая жалость, что впору плакать, плакать горькими слезами.

И все-таки иной раз меня что-то побуждает обижать эти маленькие существа.

Так, поймав однажды небольшого котенка, я затащил его на колосник овина. Я слышал, что кошки всегда падают прямо на ноги. Мне во что бы то ни стало захотелось самому испробовать, правда ли это. Я уже раз десять бросал его. А котенок, известное дело, все не падал да не падал по-другому: коснувшись земли, он уже стоял на ногах. Он был такой слабенький, что даже не пытался удрать. Да и устал к тому же. А я, живо сбежав вниз по лестнице, снова втаскивал его на колосник продолжать испытание. Я не хотел его мучить. Я только хотел его один раз бросить так, чтобы он упал по-другому, чтобы он единственный раз не сумел упасть на ноги, и больше ничего! И я бы его сейчас же отпустил . . . В последний раз котенок ткнулся в землю мор-



дочкой. Он уже совсем замучился. У него потекла из носу кровь, и он жалобно замыкал. И вдруг мне стало его так жалко. Я ведь вовсе не хотел причинять ему зла. Я только хотел разок бросить его так, чтобы ему не удалось упасть на ноги. Сбежав вниз, я схватил маленькое животное и быстро понес к колоде. Обмыл ему кровь и сразу же дал полакать молока. С тех пор я заботливо ухаживал за котенком, пока он не вырос большой.

В другой раз (и это самое большое преступление, которое я когда-либо совершил по отношению к животным) я вынул из дупла в липе галчонка, который еще не умел как следует летать. Сперва я забавы ради подбрасывал его в воздух и наблюдал, как он, быстро хлопая неловкими крылышками, неподалеку тяжело падал на землю. Потом и это занятие мне наскучило. Посадив галчонка на сосновую ветку, я насобирав в поле камешков и давая кидать ими в птичку. Навстречу каждому летящему камню галчонок сердито выставлял свой клюв. Это еще больше раззадорило меня. И мне загорелось



во что бы то ни стало вклеить галчонку по самому клюву. Что его можно убить — это мне и в голову не приходило. Иногда камень задевал его по крылу — он только покачается несколько раз вперед и назад, но из коготков ветку не выпускает...

Бедняжка! От удара по zobу он опрокинулся навзничь и испустил дух. Но коготками так судорожно держался за ветку, что я с большим трудом рознял их...

Я закопал его в песок на берегу реки и воткнул сверху большую липовую ветку.

После этого случая я никогда больше не повторял подобной игры.

Однако с корнем вырвать жестокость из моего сердца выпало на долю дяде Клаву.

Однажды поймал я в дупле старой ивы водяного воробья. Со спины он кажется черным. Шейка у него белая, а грудка красновато-коричневая. Он быстро летает, хорошо ходит по воде и умеет нырять.

Привязав ему к лапке длинную нитку, я выпустил его. Птица живо кинулась наутек за речку. Да не тут-то было — привязанная нога не пускает. Воробей упал в реку, сперва ушел под воду, потом выплыл и забил крыльями по воде.





Стоя на берегу, я наблюдал его конвульсии с тем же наслаждением, с каким англичанин смотрит на петушинные бои, а испанец — на бой быков.

И тут я неожиданно почувствовал, что две руки железной хваткой так стиснули мне сзади локти, что я невольно вскрикнул. Нитка выскользнула у меня из рук, и птицу — поминай как звали.

— Ага! Будешь у меня пташек мучить?! Ты думаешь, пташке не больно?.. Ведь она, божья птаха, — как и ты, хочет жить! — гремит у меня над ухом грубый голос.

Это кузнец Клав. Мне тотчас следовало бы узнать его по железной хватке. А он продолжает:

— Понравится тебе, коли тебя так же привязать веревкой за ногу, бросить в воду, а потом опять выдернуть?!

Я пытаюсь оправдаться тем, что птица умеет плавать, что ей вовсе не так ужо худо.

— Ах, не худо! Ну, постой, я тебе покажу, тогда узнаешь, как оно — худо или не худо.

С этими словами кузнец Клав, схватив меня за ноги, выше щиколоток, несет подальше в реку и начинает медленно окунать в воду вниз головой.

Сначала я смеюсь. Но когда у меня полголовы уже оказывается в воде, я начинаю брыкаться и кричать, чтобы он перестал.

Кузнец Клав вытаскивает мою голову из воды, но потом тем же манером погружает ее обратно.

Я принимаюсь орать, вырываться. А он преспокойно продолжает учить меня уму-разуму до тех пор, пока я не пускаю слезу.

Тогда он отпускает меня, приговаривая:

— Ну, теперь видишь, каково было птичке?

Пыхтя от волнения и злости, не отвечая ни слова, быстро убегаю на холм.

Мне кажется, что кузнец Клав меня кровно обидел.

Ноги моей никогда не будет у него в кузнице... Никогда больше не буду раздувать ему мехи... Слова ему не скажу... Пусть только посмеет прийти к нам домой... сейчас же выгоню вон...

С такими мыслями прибегаю домой, бросаюсь на постель и снова принимаюсь реветь.

— Сыночек, да что с тобой? Чего ты плачешь? — допытывается мать.

Я не отвечаю, продолжаю сопеть и всхлипывать.

— Болит у тебя что-нибудь? — не отступает мать.

— Нет!

— Может, отец тебя пожурил?

— Нет!

— Так что же с тобой? Чего ты плачешь? Гляди-ка, какие подарки привез тебе дядя Клав с ярмарки!

И мать приносит и раскладывает передо мной несколько книжек с картинками, новую шапку, кулек конфет, пряничную лошадку и сахарные сигары.

Сперва я на все эти вещи и взглянуть не хотел. Потом все-таки бросил на них несколько хмурых взглядов. Ну, а уж после этого стал разглядывать их со всех сторон. И первая же сладкая сигара, которую я взял в рот, подсластила мне горечь обиды на кузнеца Клава.

Надев новую шапку, я побежал на холм, прямо в кузницу, преисполненный желанием кинуться дяде Клаву на шею и сказать:

«Милый, добрый дядя Клав! Прости, прости меня! Я никогда больше не обижу ни одной пташки!»

И я ни разу не нарушил своего обещания.





## XI

В ту же осень кузнец Клав умер.

Это самое тяжелое переживание за мою жизнь в деревне Тайва.

Я давненько не бывал у кузнеца Клава. Целые дни проводил я на берегу реки, собирая орехи, которых в тот год уродилось на удивление много.

Каждый вечер я приходил домой, набив до полна все карманы, шапку, пазуху и рукава фуфайки.

Нижний ящик комода, отданный матерью в мое распоряжение, я задумал доверху наполнить орехами.

Часто я садился возле кучи орехов и, забавляясь, набирал их пригоршнями, пересыпал с места на место и спихивал кучей из одного угла ящика в другой, иногда зарывая в них обе руки по локоть.

Как-то раз, насобирав орехов и воротившись домой пораньше, я решил сходить к дяде Клаву и отнести ему за сладкие гостинцы полную жестянку орехов.

Немного погодя, я уже весело шагал к холму.

На холме не слышалось обычного шума. Дверь в кузницу была закрыта. Подбежав поближе, я увидел, что она заперта большим висячим замком.

Мне пришло в голову, что дядя Клав, наверно, уехал на рынок. Однако из любопытства я все-таки решил заглянуть в щелку между досок.

Не успел я глазом приложиться к стене, как изнутри раздался душераздирающий, страшный вопль — у-у-у! — исторгнутый невыносимым страданием.

Мороз побежал у меня по телу. Банка вывалилась из рук, орехи рассыпались.

Дрожа от страха я со всех ног припустился домой. Мысли, одна страшнее другой, вереницей проносились у меня в голове.

— Мама, мамочка! — закричал я с порога. — Бежимте!.. Где отец?!.. Скорее, скорее! спасать дядю Клава! Его дьявол в кузнице мучает!.. Ой-ой-ой!

А мать отвечает:

— Никакого там дьявола нету, сынок. Кузнец Клав стоит оттого, что он тяжело болен... А люди — бога они не боятся — заперли его в кузнице.

В наших краях в тот год свирепствовала дизентерия.

Я сам за столом сколько раз слышал, как взрослые говорили: в Вaleyках померли батрак и пастушонок; в Рунгайнах скончалась девица, у которой в то же воскресенье собирались играть свадьбу; в Зурах слегли все домашние: некому ни скотину выгнать, ни лен убирать, сама хозяйка до того плоха, что до утра не протянет.

Уездная полиция уведомила жителей о том, что есть предписание: всякого человека, как только у него появятся признаки заболевания, немедленно отделять от других.

Вот староста, по-своему истолковав предписание, и отделил больного кузнеца, заперев его в кузнице.

Отца этот дикий произвол возмутил до глубины души.

— Вы что, из ума выжили? — запальчиво кричал он. — Весь ум окончательно пропили?!.. Живого человека хотите загубить... Заболел человек — так ему надо лекарства дать, за ним уход нужен... А вы, вы, ровно дикари, заперли его в тюрьму. Ну, погодите, если кузнец Клав померет, вы



будете виноваты в его смерти. Вы хотите уморить его голодом. Вы хотите сгубить его, вы . . .

Что потом случилось с кузнецом Клавом, — не знаю.

От страшного нервного потрясения я в тот же вечер захворал, так что на другое утро не мог с кровати подняться.

Несколько недель подряд пролежал я в беспамятстве, не соображая, ни где я, ни что со мной происходит.

Все ночи напролет возле моей постели светилась лампочка, и бедная мать ни на минуту не смыкала глаз.

Сокрушенная горем, вконец измученная, сидела она у меня в ногах. Красными заплаканными глазами смотрела на мою быстро вздымавшуюся грудь, каждый раз вскакивая, когда бред усиливался. Она без устали растирала под одеялом мое сухое, горячее тело тряпкой, смоченной в уксусе, клала мне на голову пузырь со льдом, через каждые семь часов поила меня теплым бузинным чаем, подкисленным клюквенным соком.

Часто я, мучимый кошмарами, звал в бреду кузнеца Клава и мать.

Тогда мать, всхлипывая, падала возле меня на колени, своею бледной рукою прижимала меня к себе, целовала мои пылающие щеки и лоб, гладила меня и успокаивала, вся растворяясь в неиссякаемой вечной материнской любви, в том невыразимом чувстве самоотверженности и самопожертвования, которое ярче всего проявляется у постели больного ребенка.

Иногда и отец заходил меня проведать. Он прикладывал свою грубую, натруженную руку к моему горячему лбу, щупал пульс, с минуту прислушивался к моему лихорадочному дыханию и, ни слова не говоря, выходил из комнаты.

Проболев три месяца, я в конце концов настолько окреп, что, лежа в постели, стал подумывать, чем бы заняться.

Мать принесла мои любимые книжки.

Первый, кто мне попался в «Школьном хлебе», был знаменитый карфагенский полководец Ганнибал.

Я стал с невыразимым наслаждением читать дальше... Но тут мне неожиданно пришло на ум, что боженька наверняка не одобряет, что я читаю про такие кровавые дела, и, преполненный к нему благодарности за выздоровление, я отложил книгу в сторону.

Чувство неописуемого блаженства разлилось по всему моему телу, по всем моим жилкам, то необычайное, приятное ощущение, которое испытывает больной, начиная выздоравливать.

В первый раз поднявшись с постели, я прежде всего пошел к окну. Земля, деревья и крыши строений были покрыты толстым слоем снега. На тропинке, ведущей от клетки к дому, сновали воробьи. Мимо окна, стрекоча, пролетела сорока. От овина к хлеву друг за другом бежало несколько поросят.

Как все это теперь ново, незнакомо, удивительно!

У меня голова закружилась, меня ослепила яркая белизна снега, мерцавшего и переливавшегося в лучах солнца.

Мать, которая тут же пряла, заметила, как я обрадовался, и сказала:

— Если будет хорошая погода, сынок, то поедем все на рождество в Земгале, в гости к бабушке. Она тебя ни за что не узнает — с тех пор, как мы расстались, ты так вырос и изменился.





## XII

Через две-три недели, которые мне еще пришлось просидеть дома, настало мое любимое рождество.

Когда молитва была окончена и мы позавтракали, старый Симанис подкатил к нашей двери на санях, запряженных лучшим конем отца Вилнисом — вороным статным скакуном, на котором отец никому не давал ездить.

Заслышав звон колокольчика, я стал сам не свой от радости.

Первой уселась в сани мать. Она разместилась слева, положив себе на колени узелок с новогодними гостинцами.

Отец, в черной шубе с огромным воротником, подпоясанный широким, шитым бисером кушаком, уселся справа — за возницу.

А меня, с головы до ног замотанного в большие толстые шерстяные шали, усадили в серединку.

Все домочадцы вышли провожать нас. Мне стало стыдно, что я, как девчонка, укутан в платки, и эта обидная мысль вначале отравляла мне все удовольствие от поездки.

Отец, приняв от Симаниса кнут и вожжи и спросив напоследок, уселись ли мы с матерью как следует, обратился к провожатым:

— Ну, бывайте здоровы и ждите нас обратно!

В тот же миг Вилнис, взяв с места в карьер, ринулся со двора на большак.

— Счастливого пути! . . До свидания! . . До свиданьица! . . С богом! — наперебой звучали за спиной голоса.

Но, выехав за ворота, отец вдруг круто осадил коня. Он



позовал Симаниса и еще раз наказал ему, что делать, пока его не будет дома.

Разогнавшийся было Вилнис нетерпеливо рыл снег копытами и, словно игрушку, взад-вперед толкал по большаку сани.

Симанис затворил ворота, в последний раз пожелал «Счастливо!»; и мы тронулись.

Завидев на бугре кузницу, я воскликнул:

— Пап! А с дядей Клавом попрощаться!..

Отец сухо кашлянул. Мать еле слышно вздохнула.

И будто сговорившись, оба в один голос ответили:

— Придет время, сынок, свидитесь.

Про кузнеца Клава я больше не расспрашивал. Все мои помыслы сейчас занимала поездка. Дрожа от радости, я все водил взглядом по заснеженным холмам и низинам, так и сверкавшим на ослепительном солнце, пока взгляд мой не упирался в то место, где на горизонте синел сосновый бор.

Воздух был тихий, спокойный. Крупчатый снег скрипел под полозьями саней. Перекликались ближние и дальние петухи.

Не желая делать крюк по большаку, отец часто сворачивал с дороги и правил прямо через маленькие озера. Поросшие кругом заиндевевшими деревьями, они выглядели, как роскошные танцевальные залы с блестящим паркетом, обрамленные величавыми белыми колоннами.

Время от времени мать беспокоилась:

— Тебе не холодно, сынок?.. Ты не озяб, детка? — и еще плотнее подтыкала полость мне под ноги.

Подъехав к речке Нарате, отец стал рассказывать, как здесь четыре года тому назад я чуть было не ушел царем в рыбье царство, и показал мне ближний хутор, куда мы в тот раз заехали сушить мокрую одежду.

Мы проезжали много-много лесов, все больше еловых. Они ярко сверкали в своем белоснежном уборе.

Легкий ветерок изредка касался их величественных вершин. Тогда вспугнутые кристаллики инея крошечными бе-



лыми мотыльками высоко-высоко взлетали над еловыми ветками и, опускаясь вниз, усыпали дорогу блестящими серебряными чешуйками.

На опушке леса, то тут, то там, прыгали синицы, монотонно твердя свою грустную зимнюю песенку:

Си, си — чи-чи-чи!

Си, си — чи-чи-чи!

А в самом лесу стояла мертвая тишина. И когда ночью вошла луна, причудливо посеребрив заиндевевшие ели, и далеко-далеко из чащи дремучего леса донеслось эхо нашего колокольчика, мне представилось, будто мы едем по заколдованному сказочному царству.

Устало тараща слипающиеся от дремоты глаза, я часто будто наяву видел впереди высокий белокаменный дом со множеством больших окон и башен и от радости громко восклицал:

— Мамочка! Мама! Смотри, какой вон там дворец!

Но стоило только приблизиться к нему, и чудесный замок исчезал, зато впереди, немного подальше, тут же возникал новый.

Еще и по сей день со мной нередко случаются такие галлюцинации.





### XIII

На другой день к вечеру мы прибыли на место.

Когда Вилнис заворачивал на двор, нас с лаем окружили большие и маленькие собаки, которых отцу пришлось отгонять кнутом.

Как раз в это время из хлева с подойником в руках вышла бабушка. Она была небольшого роста, уже немножко сгорбленная старушка, но еще достаточно проворная, чтобы вести хозяйство сына.

Увидав нас, она остановилась, гадая, кто бы это мог быть.



Мать первая подошла к ней и поздоровалась.

Тут бабушка выронила подойник и, простерев вперед руки, всхлипывая, бросилась матери на шею.

— Ну, узнаешь, кто это? — указывая на меня, спросила мать.

— Ой, никак Андынь!.. Ах ты, мой внучек!.. — радостно запричитала бабушка и, обняв меня, стала крепко целовать.

— Заходите, детки, заходите в дом! А кто это там при лошади? Ах ты, господи, да ведь это Янис!.. Все трое приехали!.. Господи, твоя воля!

— Ну, добрый вечер, мама! — приветствовал ее отец и поцеловал бабушке руку. — Небось не ждала нас?

— Добрый вечер! Добрый вечер, сын!.. Да и как было ждать... Ах ты, господи, твоя воля, кто бы это мог подумать!.. Этакую даль!.. И все трое!.. Идемте, идемте, дятки мон, обогрейтесь с дороги! Пойдемте!.. А я сейчас... Да куда же этот Екаб запропастился, не идет встречать дорогих гостей?!

— Да вот он, весь тут! — слышался у нас за спиной низкий мужской голос.

Это и был Екаб, единственный брат моей матери, — человек среднего роста с небольшими пшеничными усами. На ногах у него были деревянные башмаки, на голове — овчинная ушанка.

Он подал руку сначала отцу и, подлаживаясь под латгальский говор, проговорил:

— А, в кои-то веки из своей глухомани выбрались в наши края!

Потом уж все вместе пошли в дом.

Засветили лампу. Отец с моим новым дядей сели за стол и стали толковать про нашу поездку, а потом постепенно разговор перешел на всякие хозяйственные дела.

Я стоял, прижавшись к матери, которая сидела на теплой лежанке, и слушал или, вернее сказать, молча осматривался в чужом доме.

После чая меня сразу же отослали спать. А отец с матерью еще долго-долго не ложились и все разговаривали с бабушкой и с новым дядей.

Новый дядя мне сначала совсем не понравился. Я боялся, как бы он не вздумал надо мной подтрунивать и потому старался держаться от него подальше.

Однажды он хотел посадить меня к себе на колени. Но я стал так отчаянно отбиваться руками и ногами, что ему волей-неволей пришлось меня выпустить.

Только после долгих уговоров и обещаний матери удалось наконец свести нас. Я должен был почитать вслух новому дяде и сосчитать до двадцати и обратно, что я и проделал без запинки.

Новый дядя похвалил меня за хорошее чтение и счет и спросил, умею ли я хоть что-нибудь петь.

И я недолго думая затянул что было мочи:

И вот с зарею рыцарей отряды  
Твердыню Тервете решили взять.  
И Виестур сам с латышскою громадой  
Той силе вышел противостоять.

— Молодец, племяш! Молодчина! — заметил дядя. — Всегда так учись — и все будет в порядке!

И, вытащив из кармана кошелек, достал из него несколько серебряных монет и, подавая их мне, сказал:

— На, держи! Купи себе на них хорошую книжку. А это побереги на конфетки!

С той поры я подружился с новым дядей.

Шел день за днем. Обо всем уже было переговорено, все, что каждый пережил за долгих четыре года, было рассказано. Разговоры теперь вертелись исключительно вокруг будничных дел. Ни рассказывать, ни спрашивать друг у друга больше было нечего. Наша совместная жизнь постепенно вошла в однообразную повседневную колею.

Отец уже раз-другой заводил речь об отъезде. Но бабушка уговаривала его еще повременить.

Однако после Крещения он уже не поддавался на уговоры. И они оба с матерью уехали обратно в Тайву.

Меня оставили у бабушки, чтобы я не узнал про смерть кузнеца Клава и снова не заболел.

Мне ничуть не жалко было расставаться с родителями. Я веселился, хохотал, прыгал вокруг саней, так что бабушка даже сказала матери, когда та садилась в сани:

— Гляди-ка, дочка, как скоро твой сын от тебя отвык. Но на другой день вечером после отъезда родителей я так





затосковал, что не находил себе места, и, забравшись в угол, ревел до тех пор, пока там же и не заснул.

Чтобы меня утешить, бабушка давала мне сахарных кренделей и рассказывала всякие сказки, которых знала великое множество.

Через неделю-другую я уже почти свыкся со своей новой жизнью. А когда я потом познакомился с соседскими мальчишками и стал кататься с ними с горы на салазках, то про отчий дом и вовсе думать позабыл.

Весною того же года отец перебрался из Тайвы обратно в Земгале. Жить среди таких дикарей, как он порою называл тайвачан, ему опротивело хуже горькой редьки.

В ту зиму у него однажды взломали клеть и стащили много всякого добра.

А в другой раз — возле волостного суда искромсали новую, только что справленную упряжь.

Он купил в Земгале казенную усадьбу и вскоре после этого умер.

В деревне Тайва мне больше бывать не приходилось. Но детские впечатления того времени, а также кузнец Клав останутся в моей памяти навсегда.



ДЛЯ МЛАДШЕГО И СРЕДНЕГО ШКОЛЬНОГО  
ВОЗРАСТА

---

В. Плудон  
ДЕТСТВО МАЛЕНЬКОГО АНДУЛИСА  
ВОСПОМИНАНИЯ

Редактор Н. Бать  
Художественный редактор Р. Янсонс  
Технический редактор В. Дарзиня  
Корректор И. Лиепинь

Сдано в набор 2 августа 1957 г. Подписано к  
печати 31 октября 1957 г. Формат бумаги 70×92<sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
5,38 фаз. печ. л.; 6,29 усл. печ. л.; 3,90 изд. л.  
Тираж 75000 экз. Цена 4 руб. 80 коп.

ЛАТВИЙСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

г. Рига, бульвар Падомью № 24. Изд. № 9414-J1006.  
Отпечатано в Образцовой типографии Главного  
управления издательства, полиграфической промыш-  
ленности и книжной торговли, г. Рига, ул. Пуш-  
кина № 12. Заказ № 1787.









